

*В.В. Корнев*  
**Насилие**

В ряду удобных для разнообразных спекуляций категорий понятие «насилие» точно не затеряется. Употребление слова «насилие» в политическом лексиконе связано с целым набором идеологических стереотипов и ярлыков, таких как «тоталитаризм», «фашизм», «коммунизм», «терроризм», «фундаментализм» и т.п. Принятыми антонимами этого слова и, стало быть, маркерами «правильного» решения проблемы насилия являются клише «толерантность», «демократия», «цивилизованность», «гуманизм», «либерализм», «права человека» и т.п. Правда, в логике обычного политического трансвестизма эти клише имеют тенденцию легко менять свою ориентацию, и, когда политик с пеной на устах и нескрываемым нажимом говорит о демократии и гуманизме, ясно, что он именно насилует свою публику. В результате такой перверсии возникают саморазоблачительные идеологические оксюмороны, вроде «гуманитарной интервенции», «насильственной демократизации», «умного оружия» и т.п.

Очевидно, что тема насилия превращается сегодня в один из самых эффективных рычагов манипуляции сознанием, ибо уровень ее обсуждения тем ниже, чем чаще бомбардируется обыватель образами насилия и негативно заряженной «силовой» лексикой. Можно говорить даже о своеобразной государственной монополии на насилие, которая выражается не только в «законном» праве уничтожать своих или чужих граждан (причем уничтожать показательно и дидактично: вспомним телевизионно-танковый расстрел парламента в октябре 1993 г. или, например, европейскую и американскую традицию прилюдной, организованной как настоящее шоу, смертной казни), но и в праве безапелляционно определять само содержание понятия «насилие». Каждый интеллектуально стерилизованный современный обыватель по умолчанию «знает», что насилие – это зло, а терпимость, толерантность (а особенно терпимость в отношении данного общественного порядка) – добро. Этот обывательский рефлекс разряжает опасные для системы моменты передачи политической эстафеты, ибо любая попытка перехвата власти подается как зловещее революционное насилие. Мигмом монтируются лозунги типа: «лимит на революции исчерпан», «коммунизм – это голод и гражданская война», «купи еды в последний раз» – все это слоганы одной лишь избирательной кампании 1996 г.

Несомненно, что любая основанная на принуждении власть не может пускать на самотек процесс осмысления ключевой для нее категории насилия

(в противном случае это было бы настоящим самоубийством политической системы). Вот почему Мишель Фуко прямо связывает сам статус и характер власти с порядком дискурса, а Жак Деррида говорит о «насилии буквы», «насилии письма» («существует, скорее, некое первонасилие письма» [1, с. 156]). С этой точки зрения (восходящей к Фрэнсису Бэкону и его формуле «knowledge is power», связывающей знание и власть, дискурс и насилие), насилие – это не искажение некоего изначально «правильного» общественного устройства, но его фундаментальный модус.

Между тем до сих пор подобная позиция является, скорее, исключением из общих правил. Понятно, что в повседневном дискурсе со словом «насилие» связываются исключительно негативные коннотации, а сама эта проблема рассматривается преимущественно в сфере сексуальных отношений. Даже в словаре В. Даля выражение «насильничать» определяется «в одном только дурном значении насилия над женщиной». Но и в формате «научного дискурса» популярная, но и затертая тема сводится преимущественно к тривиальной оппозиции мужского и женского (А. Усманова в статье «Насилие как культурная метафора» справедливо говорит о том, что женское насилие вообще дискурсивно не оформлено [2]). Характерно, что «домашнее насилие», как явствует из различных социологических псевдоисследований, целиком мыслится как однонаправленное действие мужской жестокости (стратифицируемой как «экономическое», «психологическое», «физическое» и т.п. насилие над женщиной). Хотя на практике всем известен не только распространенный тип мужа-самодура, но и столь же популярный вид тиранической жены вместе с затюканным мужем-подкаблучником. Еще две с половиной тысячи лет назад, в эпоху, как думается феминисткам, беспросветного патриархата, древнегреческий философ Сократ подвергался типичному домашнему насилию со стороны своей легендарно вздорной жены Ксантиппы.

Конечно, иногда научно оформленная проблема насилия отрывается от этой гендерной мифологии и анализируется в контексте различных политических, культурных, психологических явлений. Но и здесь общим местом становится четкая расстановка отрицательных и положительных акцентов в модели «насилие–ненасилие» или «нетерпимость–толерантность», «насильник–жертва». Часто содержание научного понятия «насилие» представляет собой лишь облагороженный стереотип, главными признаками

которого является подмена анализа морализацией (в лучшем случае, рефлексия заменяется естественно-научными наблюдениями и «практическими исследованиями»), однозначная негативность в восприятии насилия, сведение насилия либо к биологическому фактору, либо, напротив, к приобретенной на каком-то этапе болезни цивилизации. В подобном ключе рассматривали проблему насилия такие разные авторы, как Зигмунд Фрейд, Конрад Лоренц, Рене Жирар, Эрих Фромм, Вильгельм Райх и др.

Так, один из пионеров исследования проблемы насилия Конрад Лоренц начинает свою знаменитую книгу «Агрессия (так называемое «зло»)» с заявления о генетической предрасположенности человека к насилию: «Агрессия, проявления которой часто отождествляются с проявлениями «инстинкта смерти», – это такой же инстинкт, как и все остальные, и в естественных условиях так же, как и они, служит сохранению жизни и вида» [3, с. 6]. Однако по ходу книги он приходит к необходимости локализовать или «заморозить» этот фундаментальный инстинкт: «Если у индейцев-юта, этого несчастнейшего из всех народов, принудительный отбор в течение немногих столетий привел к пагубной гипертрофии агрессивного инстинкта, то можно – не будучи чрезмерным оптимистом – надеяться, что у культурных людей под влиянием нового вида отбора этот инстинкт будет ослаблен до приемлемой степени» [3, с. 251].

Эта очень странная для биолога идея демонстрирует противоречивость всего труда, и совсем не случайно в последней главе Конрад Лоренц сбивается на чистый пафос и морализацию: «В отличие от Фауста, я представляю себе, что мог бы преподавать нечто такое, что исправит людей и наставит их на путь. Эта мысль не кажется мне слишком заносчивой. По крайней мере она менее заносчива, нежели обратная, – если та исходит не из убеждения, что сам не способен учить, а из предположения, что «эти люди» не способны понять новое учение» [3, с. 242].

Итак, первой очевидностью для серьезного разговора о насилии должно стать очищение этого понятия от банальных и конъюнктурных смыслов (таких как сведение насилия к психологическому «минусу», к некоей недолжной форме общения). Но в результате освобождения этой категории от шлейфа политической схоластики насилие предстанет базисным человеческим переживанием, реализуемым в речи, культуре, коммуникации, в желании властвовать или подчиняться, в творчестве, спорте, семье, наконец, в том же русле межполовых отношений, но только уже не напоминающем улицу с односторонним движением.

Самой фундаментальной – прав Деррида – действительно выглядит связь насилия с дискурсом. Как строится, допустим, типовое повседневное насилие в наших палестинах? – это обязательно речевая игра

в насилие. Подходят, представьте себе, к интеллигенту несколько хулиганов и вежливо осведомляются:

– Браток, закурить не найдется?

Тем самым интеллигенту предлагают вступить в пробную коммуникацию, где форма, тон и содержание ответа определяют всю дальнейшую реакцию испытующих. В невинном вопросе сразу несколько ловушек. Скажем, обращение «браток», «земляк» даже «чувак» – это знак хотя бы деланного уважения, и ошибка заключалась бы в непринятии такого практически дружественного обращения (глупо вообще ответное интеллигентское «вы»). Другая ловушка в том, что формальный по сути вопрос влечет за собой серию содержательных расшифровок и дополнений в случае, когда потенциальная жертва сама ненароком расширяет пространство диалога. Так, неправильно на предложенный сугубо справочный вопрос отвечать заявлением о собственной жизненной платформе или стратегии, которая мгновенно угадывается за простым заявлением: «не курю». В наигранном «королевском гамбите» хулиганского дискурса на это следуют такие, куда более агрессивные ходы:

– Ты что, спортсмен?

– Здоровье бережешь?

– Поди, и не пьешь?..

Ловушка захлопнулась, и бедолага катится по наклонной стремительно опрошающегося дискурса с элементами рукоприкладства. Важно понять, что при этом вся цель разыгрывающегося таким манером действия состоит не в переходе от ритуальной речевой преамбулы к физическим актам насилия, но именно в самом процессе «воспитания» и «поучения» оторвавшегося от народа интеллигента. Потому в конце трагических для него событий хулиганы обязательно поинтересуются эффективностью данного урока. По большому счету, этот грубоватый дискурсивно-физический акт ничем не отличается от насилия таких же именно типичных интеллигентов над самими хулиганами с помощью всей системы «знания-силы»: начиная с палочной школьной дисциплины (представьте только, как в свое время издевались учителя над туповатыми и бесталанными подростками) и заканчивая демагогами-политиками, хамоватыми начальниками, бюрократами всех мастей.

В «Бесконечном тупике» Дмитрий Галковский пишет о том, что русская литература сущностно связана с русским насилием: «Россия это страна допросов. Это уже из анализа художественной литературы ясно. Где вершина русских диалогов, наиболее напряженный и философичный их уровень? – В допросах. Раскольников и Порфирий Петрович. Ну и, конечно, не только в собственно допросах, но и в обычных диалогах, которые, однако, построены как допросы. А что такое вообще «допрос»? – Крайне формализованная (протокол) беседа, лезущая в самые неформальные и нерегламентируемые, интимные, части внутреннего

мира. «Скажите, что вы делали вчера у гражданки Ивановой после 12 часов ночи? Отвечать быстро, четко, по пунктам. Ну?» (Ручка замерла в ожидании над бумагой.) Форма допроса безлика и равнодушна, но содержание предельно интимно и эмоционально. От формы, поверхностной и стертой, необязательной, случайной (следователь всегда случаен), зависит судьба и жизнь. Эта допросная тема тончайшим тленом распространилась по русскому миру. Сами допросы это лишь некое средоточие общего тона, вершина, покоящаяся на громадном фундаменте. К русскому подходят на улице: «А давай мы тебе нос отрежем». И русский с ходу включается: «А зачем?»; «Не надо»; «У вас документы есть?» и т.д. Западный человек от такого предложения так и сел бы на тротуар от ужаса. Или бы дал в рожу. Или убежал. Но так естественно включиться в немислимый ДИАЛОГ» [4, с. 41].

По Галковскому, именно смещение планов реальности и воображения в русском сознании и языке, неразличение формальных и содержательных сторон коммуникации делают столь эффективным русское слово. В России сбываются книжные фантазии и утопии (любой дворянин «золотого» екатерининского века мог построить в своей усадьбе Лондон, Париж или Древние Афины, и заставить своих крестьян носить европейское платье или античные тоги, говорить на французском, греческом, латыни и т.п.). Насилие по-русски – это часто именно «воспитание», «образование», насильственное просвещение, «гуманитарное вмешательство». Наш национальный диалог – это психологический форс-мажор, где целью чаще всего является попытка «влезть в душу» собеседнику, раскрутить его на откровенность, выпотрошить. В мягкой форме это происходит в разговоре «по пьяной лавочке», в жесткой – в виде домогательства, допроса с пристрастием: «Русское общение идет очень далеко, заходит очень далеко. В русском общении совершенно отсутствует категория меры. Русский диалог преступен, что прекрасно показал Даниил Хармс. Он физиологически глубоко подметил незащитность русского слова, невозможность им защититься, формализовать диалог, ввести его хоть в какие-то рамки. А с другой стороны, Хармс чувствовал, что это же свойство языка превращает общение в избиение и убийство. Русский язык – язык палачей и язык жертв. Вот рассказ Хармса «Григорьев и Семенов»:

«Григорьев (ударяя Семенова по морде): Вот вам и зима наступила. Пора печи топить. Как по-вашему?

Семенов: По-моему, если отнестись серьезно к вашему замечанию, то пожалуй, действительно пора затопить печку.

Григорьев (ударяя Семенова по морде): А как, по-вашему, зима в этом году будет холодная или теплая?

Семенов: Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима будет холодная. Если лето дождливое, то зима будет холодная.

Григорьев (ударяя Семенова по морде): А вот мне никогда не бывает холодно.

Семенов: Это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бывает холодно. У вас такая натура.

Григорьев (ударяя Семенова по морде): Я не зябну.

Семенов: Ох!

Григорьев (ударяя Семенова по морде): Что ох?

Семенов (держась рукой за щеку): Ох! Лицо болит!

Григорьев: Почему болит? (И с этими словами хватя Семенова по морде).

Семенов (падая на стул): Ох! Сам не знаю.

Григорьев (ударяя Семенова ногой по морде): У меня ничего не болит.

Семенов: Я тебя, сукин сын, отучу драться. (Пробует встать).

Григорьев (ударяя Семенова по морде): Тоже учитель нашелся!

Семенов (валится на спину): Сволочь паршивая!

Григорьев: Ну, ты, выбирай выражения полегче!

Семенов (силясь подняться): Я, брат, долго терпел. Но хватит. С тобой, видимо, нельзя по хорошему. Ты, брат, сам виноват.

Григорьев (ударяя Семенова каблуком по морде): Говори, говори! Послушаю.

Семенов (валится на спину): Ох!»

Это типовой русский разговор, постоянно воспроизводящийся в той или иной модификации везде: дома, на работе, на улице, на собрании, на допросе. Сколько раз я был его участником! Ни на западе, ни на востоке такой дикий, жуткий «диалог» совершенно невозможен. Во-первых, избиение происходило бы молча или сопровождалось отдельными вскриками и мольбами, не образующими связного текста и тем более – диалога. Во-вторых, даже если представить редкий случай беседы-избиения, то она не велась бы столь искривленно и спутанно. На Западе разговор бы шел чисто формально (так и говорили бы до конца «о погоде») или же чисто содержательно (выяснение отношений). На Востоке такой разговор был бы содержательно-формальный, то есть говорили бы о погоде, но одновременно Григорьев-сан издевался бы над Семеновым (особое строение фраз и интонационных акцентов)» [4, с. 65–66].

Но не соглашусь все же с Галковским в том, что такое общение-избиение – стиль одной только русской национальной культуры. Мне кажется, что этот феномен имеет поистине интернациональный характер: недаром такие суровые практики сло-

весно-физического давления, как заседание святой инквизиции или телевизионное ток-шоу, изобретены точно не в России. Да и вообще культура и насилие с глубокой древности идут рука об руку. Ясно ведь, что личность и человеческое общество появляются лишь тогда, когда они оказываются способными насильно подавлять и регламентировать первичную физиологическую природу. Культура и социум формируются изначально в качестве системы силовых запретов на животные инстинкты.

Хотя и без учета исторической антропологии очевидно, что любая отдельная человеческая личность – это своеобразный узел сопротивления внутренним и внешним влияниям. Быть человеком – означает противостоять социальному стаду снаружи и стадному инстинкту внутри себя. Быть личностью – значит проявлять постоянное волевое усилие в отношении природы, общества, собственной телесности. Чем был бы человек без насилия в адрес естественных позывов лени, тупости, шкурного инстинкта? Даже само управление человеческим телом, как пишет М. Фуко в статье «Власть и тело», – это, по сути, превращение тела в объект и инструмент насилия: «Владение своим телом, осознание своего тела могло быть достигнуто лишь вследствие инвестирования в тело власти: гимнастика, упражнения, развитие мускулатуры... – все это выстраивается в цепочку, ведущую к желанию обретения собственного тела посредством упорной, настойчивой, кропотливой работы» [5, с. 161].

Именно в зоне насилия над телом, языком, сознанием и формируется всегда пространство культуры (в «Грамматологии» Ж. Деррида резюмирует: «"науки и искусства" предпочли поселиться именно в том месте, где осуществляется это насилие» [1, с. 156]). Одной из первых теорий искусства была аристотелевская концепция «катарсиса» – фактически методически организованного насилия автора над зрителем, силового психологического эффекта. Эта принудительная «дезинфекция души» (по выражению А.Ф. Лосева) есть, в сущности, элементарная манипуляция слабостями человеческой натуры в целях утверждения «правильного» социального порядка (важно видеть в этой аристотелевской концепции именно такой волюнтаристский момент, ибо, как пишет А.Ф. Лосев, просто «свести катарсис на моральное успокоение добродетелей души – значит вносить тот европейский морализм, которого совершенно не знала языческая и мистериально-материалистическая Греция» [6, с. 204]).

Не случайно, что и одним из первых жестов нового искусства – кинематографа – стал люмьеровский план несущегося прямо на зрителей поезда. С того времени прием психологического, визуального, монтажного «наезда» на зрителя стал знаковым выражением агрессивного духа кино, его бескомпромиссных силовых средств воздействия на аудиторию. Вполне в духе

Аристотеля современный кинематограф практикует принцип бесцеремонной эксплуатации человеческого страха и сострадания, эффективно вторгается в интимный мир зрителя, канализирует его эмоции в нужном направлении.

Приведу, кстати, пару иллюстраций этой мысли. Несколько лет назад я был просто сражен гениальной «катарсической» провокацией Ларса фон Триера, который в своем фильме «Догвилль» заставил зрителей не просто эмоционально принять расстрел бандитами населения маленького городка, но и испытать полное моральное удовлетворение таким исходом. В одном из моментов этой финальной сцены детей убивают на глазах матери, но, ручаюсь, едва ли один из тысячи «соучастников» этого события в кинозале испытает эмпатию в отношении именно жертв, а не убийц. Эта, выстроенная искуснейшим режиссером, интеллектуальная и психологическая ловушка лишней раз показывает онтологическую укорененность насилия. Такой же мотив можно найти и в других знаменитых киноанатомиях агрессии: в «Заводном апельсине» Стенли Кубрика, «Бонни и Клайде» Артура Пенна, «Вальсирующих» Бертрана Блие, «Дорогой Венди» Томаса Винтерберга и др. Невозможность выхода из заколдованного круга нетерпимости, моментально заражающая энергетика жестоких сцен и характеров, некая фундаментальная ложь ненасилия – вот что ощущаешь всякий раз, пересматривая эти картины (собственно и стандартные голливудские боевики притягивают зрителей именно этим нескромным обаянием насилия).

Сошлюсь еще на сравнительный анализ Славоем Жижекком двух очень непохожих фильмов: «Жизнь прекрасна» Р. Бениньи и «Торжество» Т. Винтерберга. Первая картина рисует образ жертвенного отца, который, будучи вместе с сыном в нацистском концлагере, подает тому все происходящее в качестве увлекательной коллективной игры. Всякое неудобство и наказание этот неистощимый на фантазию отец превращает лишь в очередной этап-испытание и, хотя бы ценой собственной жизни, добивается в итоге главной цели – полностью микширует травматический опыт ребенка, изолирует того от жуткой реальности. Вторая же картина живописует совсем другого отца – буквально списанного у З. Фрейда тотемического праотца, который совсем не индустриально обладает своими детьми. И неожиданно С. Жижек заключает: «Короче говоря, настоящий ужас вызывает не Праотец-насильник, против которого благородный материнский отец защищает нас своим фантазийным щитом, но как раз-таки этот милосердный материнский отец. Было бы по-настоящему удушающим, психозогенным опытом для ребенка иметь такого отца, как Бениньи, который своей защищающей заботой стирает все следы прибавочного наслаждения» [7, с. 113].

В самом деле, чем станет этот укутанный с головы до ног родительской заботой, тепличный сын? Сможет ли он, лишенный чувства реальности и глубины эмоционального опыта, хотя бы оценить по-настоящему подвиг своего отца? И, наоборот: тот, второй, травмированный, но тем самым насильно приобщенный к реальности, сын из «Торжества» Т. Винтерберга, без всяких сомнений, тепличным растением не будет. Потому и его бескомпромиссный бунт против родителя выглядит актом настоящего рождения личности. Характерно, что эдипальный сюжет в «Торжестве» обыгрывается на нескольких уровнях прочтения, а главное – в качестве психологического и культурного архетипа, первичной атрибуции человеческого характера. При этом не следует упускать из виду, как советует С. Жижек, еще один модус данной коммуникации – символическое отцовство поучающего автора и вынужденную инфантильность поучаемого зрителя. И здесь видно, что именно режиссер фильма «Жизнь прекрасна» подвергает свою аудиторию самой аккуратной лоботомии, ибо, как пишет С. Жижек, «разве не создает Бениньи-отец подобного рода вымышленный щит, защищающий от травматической реальности концентрационного лагеря? Разве не поступает режиссер подобным образом и со своими зрителями? Иначе говоря, разве не обращается он со своими зрителями, как с детьми, которых нужно защищать от ужасов холокоста, рассказывая им «безумную» сентиментальную и забавную сказку» [7, с. 108].

Итак, скажу теперь пафосно: насилие – это повитуха человеческой личности и пружина ее истории. Каждодневное усилие быть человеком – это перманентное внутрь и наружу направляемое насилие. Кем был бы некий конструируемый социальными технологиями «ненасильственный» толерантный субъект? – кастратом или, скорее, фантомом. Для животного он был бы нежизнеспособен (достаточно вспомнить стерилизованного Алекса из «Заводного апельсина»), для человека он был бы просто полуфабрикатом. На манер знаменитого декартовского «*cogito ergo sum*», можно выразиться так: «существую, когда проявляю усилие существовать». Я есть, когда я применяю силу в отношении к своему телу и духу, когда способен сопротивляться растворяющему во мне личность обществу, стаду, природе, миру. Но во избежание солипсизма, следует повернуть эту формулу еще и так: «объективность, фактичность моего существования доказывается встречной силой Другого». Если я составляю для другого человека (а также целого общества и его инстанций) проблему, объект, адрес для применения силы, то для самого себя я в этот самый момент – личность, индивидуальность, волевая монада. При всех издержках негативного отношения ко мне со стороны другого, именно сама интенция его выраженного интереса обнаруживает для меня мое существование.

Комментируя гегелевскую «Феноменологию духа», Александр Кожев так поясняет необходимость онтологического насилия человека над собой (а как следствие, и над другими): «нужно произвести над собой некоторое “насилие”, чтобы отдать себе отчет в том, что ты уже не тот, что прежде. Согласно Гегелю, человек, которому не удастся совершить над собой это “насилие”, не может называться человеком в точном смысле слова» [8, с. 499]. Поэтому, как жестко определяет Гегель, человек буквально обязан «совершать насилие над своей “природой”» [8, с. 619]. При этом под этой отрицаемой природой нужно понимать прежде всего стадное чувство, естественный и панический страх индивидуализации, обнаружения в себе субъекта. А ведь, не столкнувшись с Другим, я не могу найти и себя.

Кстати, в своем первоизданном виде насилие бескорыстнее и чище дружбы, любви, жертвы. Так, в основе любовной коммуникации часто лежит лишь замкнутый цикл самообмана, подмена фактической субъективности функцией отражения чужого сомнения – формула любви такова: «я люблю другого не за то, что он некая истинная ценность, но за то, что он любит меня». Как объясняет Ж.-П. Сартр, в основе любви – парадоксальное свободное принуждение к взаимности, шантаж и взаимный обман: любовь «является, в сущности, обманом и отсылкой в бесконечность, потому что любить – значит хотеть, чтобы меня любили» [9, с. 392]. Иное дело – насилие. Оно бескорыстно и асимметрично. Если влюбленные тщательно и ревниво обмениваются комплиментами, подарками и символическими жертвами (следя при этом именно за тем, чтобы такой «баш на баш» был пропорциональным), то ненавидящие друг друга люди способны на абсолютно неадекватные вызовы и ответы. Мечь графа Монте-Кристо и любовь Эдмона Дантеса несопоставимы. Ненависть умнее, изобретательнее, мощнее, терпеливее любви. Она монолитна и целеустремленна. Ощущая чужую ненависть, ты получаешь куда больший стимул к существованию, чем в случае, когда тебе воскуряют любовный фимиам. При этом любовный комплимент разоружает, а порция нелюбви вооружает: чтобы не оказаться жертвой насилия, ты должен стать несколько умнее и сильнее себя нынешнего. И кстати вспомнить здесь эпические рассказы о самом главном на войне, в битве-признании – признании со стороны врага. Например, в детстве меня больше всего поразили те легенды о Великой Отечественной, где какой-нибудь фашистский генерал поневоле признавал мужество и стойкость полуживого советского солдата, извлеченного не то из-под руин Брестской крепости, не то из концлагерного барака (такова, например, известная сцена в «Судьбе человека» М. Шолохова).

Сформулирую отсюда напоследок тогда еще одно, онтологическое определение насилия: насилие – это

неутолимая жажда Реального. Дефицит этого Реального (подлинных зашкаливающих чувств, высоких мыслей, сильных поступков, серьезных экзистенциальных испытаний, рубежных событий и т.п.) в целлулоидной жизни современного обывателя всегда будет требовать для себя гиперкомпенсации. Способами таковой являются и «экстремальные виды отдыха», связанные с насилием над своим телом, и экстремальный полет фантазии, выражаемый в образах кинематографического, масс-медийного, компьютерного насилия. Наверное, «политическая элита» (присвоившая себе право определять и применять насилие) мнит неким благим делом стремление обуздать первичную человеческую негативность. Правящая каста пытается купировать и канализировать социальную нетерпимость. Но практика показывает, что в любом случае насилие невозможно рационализировать и приручить. То тут, то там разгораются очаги немотивированной агрессивности, табуируемой системой с помощью ярлыков «терроризм», «фашизм», «национализм» и далее, вплоть до «домашнего насилия» и «неполиткорректности». Однако перелицовка означающих не способна окончательно отрезать их от означаемых. Инволюция

и коррупция языка лишь обнажают язвы современной нетерпимости. Шизофреническая заикленность на тех или иных «нехороших» означаемых (например, на том же знаке «фашизм», который помимо нашей воли притягивает добавочный интерес) лишь более четко проявляет проблемные места на карте современного дискурса. Подобно запретным комнатам Синей Бороды, они манят все новых и новых исследователей. Эта травматическая топология научного и обывательского языка выводит на геологию социальных потрясений и настоящих катаклизмов эпохи кастрированного тоталитаризма или буйной демократии.

И вообще, если кто-нибудь всерьез полагает, что проблему насилия можно решить с помощью подтасовки означающих или, тем паче, методом исправления человеческой природы, – такому утописту можно лишь посочувствовать. Впрочем, сама интенция этого идеалиста на обязательное исправление языка, человека, общества – это уже отрезвляющее и самое наглядное свидетельство обратного. Агрессивное намерение выправить дискурс или социальный порядок есть, несомненно, то же самое насилие, кусающее, как змея, собственный хвост.

### Библиографический список

1. Деррида, Ж. О грамματοлогии / Ж. Деррида. М., 2000.
2. Усманова, А. Насилие как культурная метафора / А. Усманова [Электронный ресурс] // <http://www.nsys.by>
3. Лоренц, К.Л. Агрессия (так называемое «зло») / К.Л. Лоренц. М., 1994.
4. Галковский, Д. Бесконечный тупик / Д. Галковский. М., 1998.
5. Фуко, М. Интеллектуалы и власть : избранные политические статьи, выступления и интервью / М. Фуко. М., 2002.
6. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика / А.Ф. Лосев. М., 1975.
7. Жижек, С. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие / С. Жижек. М., 2003.
8. Кожев, А. Введение в чтение Гегеля / А. Кожев. СПб., 2003.
9. Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто / Ж.-П. Сартр. М., 2000.